

## Пролог

В приёмном покое, стены которого были вымазаны грязно-голубой краской, находились фельдшер Ломанов, человек с узким измождённым лицом, и медбрат Гурий, здоровенный детина, который, вопросительно глядя на старшего, что-то комкал в руках. А напротив них сидел на скамейке человек, облачённый в серую долгополую хламиду, напоминавшую наматрасник, из боковых отверстий которого торчали белые руки.

Всё это доктор Выжлецов, совершающий обход, увидел разом. Но внимание остановил на незнакомце. Тот при появлении доктора поднял голову. Не откинулся на спинку скамейки, а именно поднял голову. И доктор догадался, что откинуться ему мешает горб, который топорщится за спиной, как заплечный ранец.

— Прикажете надеть? — медбрат-амбал уже обращался к доктору, развернув смирительную рубашку, рукава которой касались пола. В больничке буйных не было, и медбрат изнывал от безделья, не находя, куда приложить своё неукротимое здоровье.

Доктор искоса посмотрел на него и нахмурил брови:

— А почему его к нам? Кто доставил? Он что?.. — доктор свёл кулаки.

— Никак нет, — поспешно ответил фельдшер, в прошлом армейский ветеринар. — Наряд доставил. Сказали, что рыдал.

— Как рыдал? — недоуменно переспросил доктор, поправляя очки.

— Горько и отчаянно, — почти как трагик Мочалов взмахнул руками фельдшер.

Доктор изумлённо посмотрел на фельдшера:

— А что, рыдать нынче запрещено? — спросил он, понижая голос, и тут же взвился: — А может, у него беда. Горе какое...

Он снова перевёл взгляд на незнакомца. Лицо чистое, спокойное, но под глазами тени, а в уголках губ залегла безысходная печаль.

Фельдшер на восклицание доктора пожал плечами, отчего лицо его стало ещё уже.

— А чего он требует? — спросил доктор. — О чём просит? — смягчил тон.

— Чернил и бумаги, — отозвался фельдшер.

— И что? Почему не даёте, коли уже поставили на довольствие? — кивнул доктор на журнал, лежащий на столе, где была свежая запись.

— Так ведь... — косясь на пациента, тихо произнёс фельдшер: — А вдруг... выпьет, — лицо его перекосилось, словно он сам хватил из чернильного пузырька. — А пером глаза себе выколет...

Доктор уже внимательно пригляделся к фельдшеру.

— С кем поведёшься... — пробурчал он и уже громче добавил: — Дайте, что требует, что просит, — и уже выходя из приёмного покоя, добавил: — Да поместите его в башенку. Там одиноко и больше свету...

Упомянутую башенку повелел надстроить предыдущий врач — бывший флотский лекарь, где он устроил себе кабинет. Но доктор Выжлецов, выпускник Московского университета, не пожелал возвышаться даже таким образом, и занял помещение, где всегда располагались врачи — на первом этаже этого одноэтажного кирпичного зданьца. Так, считал он, было правильно и справедливо.

## Записки по памяти

### 1

Конь о четырёх ногах, и тот спотыкается. А уж в лесу и подавно. Что сбило его с шага? Шишка ли еловая пала на узкую лесную дорогу, горностай ли перебежал. Но только конь мотнул головой, прынул в сторону, зацепился копытом за выступ елового корня, растерянно всхрапнул и... захромал.

Что было делать? Ты спрыгнул с седла. Передал повод сестре. Велел поехать. Да вослед добавил, чтобы послали за коновалом. Сестра поехала, ведя в поводу захромавшую лошадь, то и дело оборачиваясь. Последний раз махнула рукой перед поворотом, меж ветвей ещё раз мелькнула её голубая шляпка и скрылась.

Ты постоял на месте, порываясь кинуться наискосок и опередить сестру. Улыбка тронула твои губы: то-то она изумится. Год-другой назад ты так непременно и поступил бы — прыти хватило бы... Но теперь не сделал и шага. Того, что представилось, оказалось вполне достаточно, чтобы удовлетворить минутный мальчишеский порыв. Мальчишество окончилось. Наступала иная пора.

Ты снял картуз. Поглядел в небесный прогал, где синева мешалась с облачностью. Оглядел лесную дорогу, посмотрел по краям, в двух шагах приметил каштаново-коричневую шляпку гриба — в аккурат под цвет твоего картуза и сюртука. Белый, да какой ладный! Срезал его пилкой для ногтей, которую держал в кармане жилета. Опустил находку на дно картуза, благо тот — с высокими околышем и тульей — был вместительным. Приметил ещё одну шляпку. Подле оказалась целая семейка. Срезал только маленькие. Чуть укорил себя, что разлучил чад с родителями. Как гамельнский крысолов, мелькнуло сравнение, да тут же и пропало: грибница сохранилась — будет и приплод. Аукнулось вод-приплод. А это не забылось.

Так, бредя вдоль лесной дороги, отходя и дальше, но не теряя её из виду, ты шёл вперёд, пока не заметил, что лесная брама стала меркнуть. Вышел на дорогу. Меж вершинами елей клубились тучи. Вдруг зашумело, заволновалось. Пали первые капли, а следом хлынул дождь. Не мешкая, ты кинулся под ель, самую матёрую из ближних. В схороне было сухо. Дождь хлестал всюду, но сюда он не достигал, только слышалось в верхах его тихое рокотанье. И от дороги ли, дальней прогулки, от воздуха ли деревенского и лесного, от музыки ли дождя ты задремал.

Сон был странный. Тебе снилось, что где-то далеко вот в таком же еловом потае дремлет человек. Со стороны будто даётся понять, что это твой далёкий потомок. Спит, не сознавая, что корни ели, будто спрут, опутывают всё его существо. Он силится освободиться и не может. Усилия его передаются тебе, юному предку. Сон мигом слетает. Ты мотаешь головой, стряхивая наваждение, на коленях выбираешься из-под ели. И... зажмуриваешься.

С высоты исходило сияние. Казалось, будто горят две еловые вершины. Треска огня нет, но они сияли, загадочно и зовуще. Тебя охватило смятение. Это не страх, что мутит сознание далёкого потомка, чудом увиденного во сне. Тебя не принуждали... Смятение от того, что ты не готов. Не сейчас... Не теперь... Потом... Вскочив с колен, ты опротясь бросился на дорогу и сломя голову полетел прочь...

К дому ты подошёл со стороны леса, переходящего в сад. Видеть никого не хотелось. Но ты забыл, что близ амбара мостится псарня. Своры тут никакой не было. Обретался один гончий пёс. Пёс все глаза проглядел в ожидании хозяина. А хозяин что? Он только делал вид, что по-прежнему охотник, большой любитель наведаться по осени в отъезжие поля. Но на деле давно отошёл от увлечений молодости и в псарню наведывался, когда в доме появлялись новые гости. Ты вспомнил о собаке, когда уже поравнялся с загоном. Рогдай, обделённый общением, при появлении любого человека обычно заливался лаем. Но на сей раз не издал ни звука. Мало того, глянув на тебя, он поджал хвост и попятился.

Ты проник в дом с чёрного хода и уже достиг своей светёлки, но тут раздался шёпот сестры. Она поджидала, озабоченная твоим долгим отсутствием, и хотела узнать, не струсил ли чего. Ты помотал головой. Но она, не поняв, последовала

за тобой. Ты, скинув мокрый сюртук, со словами «Не сейчас... Не сейчас... Потом...», кинулся на кровать и укрылся с головой просторным пледом. «Потом...».

Спал ты беспокойно. Всё ворочался. То и дело вставал пить брусничную воду. Забылся уже под утро, когда рассвело.

Очнулся от голоса сестры, она звала к завтраку. Ты отказался, сославшись на головную боль и хандру. Она ушла, но вскоре возвратилась с подносом, на котором стоял кофейник и лежали сдобные булочки. Ты сел на кровати и внимательно посмотрел на сестру. Вы всегда жили с нею дружно, почти не ссорились, она как старшая была поверенной в твоих сердечных делах. Но то, что накануне с тобой стряслось — сестра верное слово нашла «стряслось», — ты рассказать не решился. Только попросил разделить с тобой прогулку, а повод нашёлся сам собой: где-то потерял картуз.

То место оказалось посередке еловой брамы. Ещё не наткнувшись на потерю, ты понял: здесь. Лопатки свело вчерашним ознобом. Ты нерешительно глянул вверх, а потом задрал голову. Там, на вершинах сосен, казалось, ничего не было, но внутренним зрением ты почувствовал слабое сияние.

Картуз, точно туч, полный белых грибов, стоял возле ели, под которой ты укрывался от дождя и увидел странный сон: далёкого потомка, опутанного еловым корнем... «В детстве меня опутывали по рукам», — сказал ты задумчиво. «Да, — улыбнувшись, подхватила сестра. — Ты грыз ногти и тёр ладонь об ладонь. И мами...». Договорить ты не дал: «...Связывала руки за спиной и забывала их развязать». Сестра растерянно присмирела. Ты помешкал. «А теперь — папá...».

Подняв картуз, ты равнодушно высыпал грибы под ноги и нахлобучил его на голову. На околыше зеленели сдвоенные иголки. Не то буква Л, не то V, не то знак стрелы, летящей неведомо куда. Сестра, явно почуяв что-то, смотрела на тебя тревожно и выжидающе. Ты отвлёк её от воспалённого блеска своих глаз, подхватив под локоть и устремив в обратную сторону. А от ненужных расспросов — неожиданным решением: тебе надо срочно в Петербург. Сестра была огорошена. Ведь собирались в деревне прожить до октября, а ещё только август. Что скажут папенька и маменька? Как ты объяснишь им эту поспешность? На это ты ответил, что объяснять ничего не собираешься, а как брат, крепко любящий свою драгоценную сестру, поручаешь ей, родной душе, известить, что их сын, человек уже самостоятельный, уехал в Петербург по неотложным делам. Сестра, зная твой характер, отговаривать не посмела. Только спросила, когда. Нынче же, ответил ты. И дальше вы шли, не проронив ни слова.

Собрался ты споро, уложив в небольшой саквояж бумаги и самое необходимое. Сестра взялась проводить тебя. Ты согласился, но упредин: только до лесной дороги. Скоро обед, тебя хватятся.

На перепутье двух дорог вы остановились. Сестра перекрестила тебя, троекратно по-христиански поцеловала. А ещё положила в ладонь небольшой рукодельный кошелёк. Здесь немного, сказала она и виновато добавила, что у неё больше нет. Ты порывисто, не сдерживая слёз, обнял её. Что тут было говорить?!

Петербург открылся многолюдьем и суетой. Ты снял самое дешёвое жильё — сирую квартирешку в трёхэтажном доме на Фонтанке, окнами во двор, где находилось и отхожее место. На другое просто не было денег.

Едва обосновавшись, ты пустился искать старых друзей и обретать новых знакомых. Все эти встречи сопровождались шумными застольями, долгими кутежами, спичами, клятвами и уверениями в вечной дружбе и преданности, а ещё ночными визитами в злачные места. Ты просыпался неведомо где и не задумывался, где проснёшься завтра. Актрисы и балерины, светские львицы, искавшие приключений, дебелие купчихи, изменявшие старым немощным мужьям, простушки-модистки, жаждавшие любви и выгодной партии, — с кем только ты не делил ложе.

Любовные утехы чередовались мальчишниками, на которых ты постепенно становился центром внимания и вострил свой язычок не только на светских и прочих барыньках, но и на их сиятельных мужьях, носящих чины, ордена и... ветвистые рога. То-то хохоту было в молодецкой компании!

Однажды — это было уже в декабре — твои друзья-гусары угнали чей-то многоместный экипаж и, чтобы продолжить кутёж, помчались за городскую заставу в «Красный кабак». Ты уселся на место кучера и гнал, и гнал вороных, пока на повороте дороги не возник, как тревожный маяк, всё тот же сияющий свет. Лошади вздыбились, захрапели, метнулись к обочине, и вместе с повозкой запряжку занесло в сугроб. Крики, чертыханья, хохот; ржание и шальные глаза коней в отблесках кресал — всё перемешалось и слилось в безумной коловерти. Понадобилось не меньше часа-двух, чтобы успокоить лошадей, вызволить тяжёлый экипаж из сугроба и последовать дальше. Но этого времени как раз хватило, чтобы избежать неминуемой беды. Дело в том, что в «Красном кабаке» в те часы заседал известный забияка и бретёр Т., которого ты незадолго до этого уличил в передёргивании карт. Он пил и грозился продырявить тебя свинцом или пригвоздить шпагой. Это был опытный дуэлянт, поразивший насмерть не одного противника. А ты не удержался бы от поединка, если бы получил вызов...

Да, ты становился неизменным участником самых скандальных выходов. Шутил, острил, паясничал. Зачастую не зная меры. Отчего дело едва не доходило до дуэли. Со стороны поглядеть: молодой человек, обретший вольницу, пустился во все тяжкие. Но с тобой было не совсем так, и даже совсем не так.

Юность порывиста, подчас безрассудна. От веры бежит и верит в своё бессмертие. Так было и с тобой. Только в силу твоего характера неистовой и испуганней. Ты словно хотел перекроить, переупрямить то, что было тебе предназначено.

Так продолжалось всю осень, почти всю зиму. Пока в феврале ты не слёг в жестокой лихорадке. Тебя знобило и трясло, как от падучей. Верный дядька наваливал пледы, перины, тулуп свой кучерский. Озноб сменялся жаром, простыни набухали потом. Снова накатывала нутряная стужа. И всё повторялось сначала.

Приходила верная няня. Приносила икону Михаила-архангела, поражающего копьём духов горячки в женском обличье. Девять или двенадцать лихоманок с перепончатыми крыльями нетопырей — летучих мышей. Оборотя икону к тебе, болезному, она шептала молитвы. Перебирала имена огневиц: Трясея, Ледея, Знобея, Огnea, Сухота... и всё кышкала на них, кышкала.

Уже на родительской квартире, куда перевезли тебя, совсем немощного, наведася званный доктор Якоб Лейтон, флотский штаб-лекарь. Тот для понижения жара заставил тебя лезть в ванну, набитую льдом с Невы. Страшнее, мрачно шутил ты, только плаха с топором.

Болезнь тянулась неделя за неделей. У тебя были обмётаны губы, отчего больно было даже говорить, не то что пить и есть. Ещё досаднее оказалось, что стали пучками вылезать волосы, и ты нахлобучил на голову дурацкий колпак.

Навешавшим тебя друзьям ты называл болезнь «гнилой лихорадкой», как определил это ещё один лекарь, заполнявший «скорбный лист». И никто не удосужился спросить, в чём причина, что вызывает эту «гнилую лихорадку».

Несколько лет спустя, когда ты оказался на Кавказе, тебя свалила похожая болезнь. Местный врач Рудыковский оказался прозорливей. Он назначил хину, или как сам записал в своём дневнике: «вбухал хины». И недуг как рукой сняло. Отсюда появилось заключение, что болезнь твоя называется малярией.

И опять вопрос. Малярия разносится комарами, обитающими в Африке и тропических странах. А откуда такой комар мог появиться в Петербурге? В бурнусе какого-нибудь богатого негуса, странствующего по свету? В паланкине колониального чиновника, возвращающегося из Индостана в Великобританию? Даже если так, даже если допустить, что болезнь после укуса малярийного комара проявляется не сразу, как такой комар мог выдержать петербургскую стужу? Тем более что в те поры зимы были лютые. Европу выморозило. Россия тоже зябла, сидя на печи или греясь у барского камина. Людей косила простуда. Народ страдал от дифтерии, дети — от кори, эти эпидемии зафиксированы официальными документами. Но малярия в Петербурге не было.

Что ещё можно предположить по поводу твоего недуга? Молодой, ещё не окрепший организм не выдержал петербургской гонки. Ты переутомился, прожигая жизнь на светских раутах, балах, дружеских посиделках; волочась за красотками, как света, так и полусвета, не брезгуя ни теми, ни другими; неумеренно поглощая шампанское и жжёнку, тоже не чинясь разницей напитков, как и женщин. Однако такую жизнь, как было принято тогда, вели тысячи сверстников-вертопрахов, в том числе твоих многочисленных приятелей, и ни один из них не заболел ни «гнилой лихорадкой», ни малярией.

Нет, мой дорогой! Причина твоей болезни другого свойства. Её попустил Господь. В ответ на то, что ты прынул и бежал от Его посланца, Он дал тебе наглядный урок послушания. Кому много дано — с того много и спросится!

### 3

Господне присутствие сопровождало тебя всегда. И если ты переходил запретную черту, тебе давалось это понять. На Кавказе повторилась, как ты говорил, телесная трясучка. Это было не случайно. В Кишинёвестряслась трясучка земная, и ты чудом уцелел, а потом, бравирюя, продолжал жить в полуразрушенном доме. Затем открылось твоё нарочитое безбожие — ты брал уроки афеизма у заезжего британца, предшественника богохульника Дарвина — и тебя выслали на Север. Но! Выслали всё же не в Соловецкий монастырь, как полагали при дворе, а Божьей милостью — в родовую вотчину.

Это место Господь определил тебе с изначала, как замыслил тебя. Оно было написано на твоём роду. И если бы ты отозвался на безмолвный зов этого духоводъёмного места и доверился тому начальному знаку — жизнь твоя потекла бы в иных пределах и достатках.

Приехав в заветные места, ты тотчас побывал там, где восемь лет назад произошло необыкновенное явление. Тебе казалось, ты нашёл и ту ель, под которой пережидал дождь, и вспомнил тот сон, что поднял тебя из елового потая. Но сияния над вершинами, которое поразило тебя тогда, теперь не было.

Ты прожил в родовой деревне два года. Два медленных года без суеты, шума, без сплетен и интриг. Здесь вольно дышалось и пелось. Век бы не покидать эти благословенные места, назначенные тебе Провидением. Почему же сорвал тебя отдалённый столичный шум? Едва услышав его, ты велел закладывать кибитку. Ты был решителен и безумен в своей решимости. Ты выехал в путь, возница настёгивал лошадей, исполняя твои нетерпеливые покрики. За повозкой вихрем клубилась снежная пыль. При таком неистовом гоне ты живо добрался бы до столицы. Но сие было чревато неизъяснимыми бедами, и упряжество твоё было осажено.

Доброхоты разных мастей потом ссылались на твои суеверия. Дескать, пересяк дорогу заяц, а потом ещё один — и ты, подверженный приметам, одумался...

Экий вздор! Цыганки-гадалки, кольца-талисманы... А тут ещё зайцы... Да будь хоть горностаи — родичи тех, что на императорской мантии, разве это стало тебе препятствием?!

Откинувшись на спинку кибитки, ты сидел с закрытыми глазами. Однако не дремал, весь отдавшись стремительным мыслям, кои летели быстрее упряжки. Помыслами ты был уже там, на Неве, в сумятице грозных событий. Что же вернуло тебя на проезжую дорогу? Внезапная тишина. Умолк колокольчик. А потом дошло, что лошади стали. Ты разомкнул веки. Окликнул возницу. Тот, темневший на облучке кулём тулупа, не шевелился. Ты откинул полость и в распахнутой шубе живо выскочил из кибитки. Ветра не было. Но впереди стояла белая стена. Словоно дорогу и поле по сторонам поставили на дыбы. Кто же поднял эту пелену? Ты шагнул вперёд. Машинально взялся за недоуздок. Лошади стояли, сомкнув глаза. Тут впереди появился просвет. Ты шагнул навстречу. Просвет расширился. Ты смотрел широко открытыми глазами и не мог пошевелиться. Снежная пелена стала оседать, потом разомкнулась. Тебя озарило сиянием. Сердце, до того бешено колотившееся, умолкло. Зато всё твоё существо охватило благодатное тепло. Это отозвалась душа. Ты чувствовал, как твою душу наполняет восторгом, мешаемым с ужасом. Она томилась и радовалась, словно пришёл её час. Много званых, да мало избранных — было донесено тебе. А потом словно отворилось пространство...

Сколько это длилось, ты не ведал, потому что время тут — и вне, и внутри тебя — остановилось. Наступила необъятная, во всю вселенскую ширь, тишина, по которой, как по полотну, ткались видения и картины...

...Постепенно сияние стало гаснуть, замыкаясь в белую пелену. Всё внутри и снаружи вставало на привычные места. Оцепенение твоё прошло. Но ноги подгибались. Ты сделал несколько шагов назад и, чтобы не упасть, ухватился за дышло. Переведя дух, ты потянулся к лошадям. Каурая отозвалась теплом, пыхавшим из ноздрей, и трепетом губ. Соловую ты погладил по лбу и тяжёлым векам. Она тоже благодарно потянулась. Потом ты шагнул к вознице. Никита не спал, глаза его были приоткрыты, но он не шевелился. Ты коснулся его бритой щеки. Он вздрогнул. Раскрыл в изумлении рот: «Ой, барин, задремал. Что это со мной?» И перекрестился. Ты устало вздохнул, слабо прошептал: «Поворачивай домой». На иное сил не было.

Едва вернулись, ты завалился в постель. Спал беспробудным сном. Проснулся среди ночи, выпил брусничной воды и опять заснул. И потом несколько дней был не то в полусне, не то в забытии.

Оживился ты через неделю. Сердце и душа пришли в лад, и однажды под утро явились стихи:

*Духовной жаждою томим,  
В пустыне мрачной я влачился,  
И шестикрылый серафим  
На перепутье мне явился;  
Перстами лёгкими как сон  
Моих зениц коснулся он:  
Отверзлись веющие зеницы,  
Как у испуганной орлицы.  
Моих ушей коснулся он,  
И их наполнил шум и звон:  
И внял я неба содроганье,  
И горний ангелов полёт,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье.  
И он к устам моим приник,  
И вырвал грешный мой язык,  
И празднословный и лукавый,  
И жало мудрыя змеи  
В уста замершие мои  
Вложил десницею кровавой.  
И он мне грудь рассек мечом,  
И сердце трепетное вынул,  
И угль, пылающий огнём,  
Во грудь отверстую водвинул.  
Как труп в пустыне я лежал,  
И Бога глас ко мне воззвал:  
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнись волею моею,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей».*

В те зимние дни ты подолгу сидел у камина, глядя в огонь. Языки пламени, ровно летучие крылья, уносили тебя в открывшиеся тебе на перепутье сокровенные дали. И первое, что являлось, — картины всемирного потопа. Никакое полотно, никакая гравюра не могли передать и малой доли того ужаса, который охватывал земное пространство, вмиг обращённое в океан. Ты целенел и сейчас, вжимаясь в кресло, словно это и тебя, как былинку, уносит в разверзшуюся бездну всесокрушающая божественная стихия.

В Библии о причинах потопа кратко и для непосвящённого непонятно: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо я раскаялся, что создал их».

Читая это место в Библии, ты обычно терялся в догадках. Гнев Божий казался непомерным, особенно представляя тонущих младенцев, матерей и стариков. Живописные картины усугубляли это впечатление. Неужели же они столь грешны, это шестое-седьмое колено от Адама? Хотя бы тот белокурый кудрявый младенец, похожий на твоего младшего брата? Он-то за что? А тут, словно ответ на твой вопрос, явились причины.



Часть ангелов, сынов неба, ослушались Господа. Было их числом двести. И замыслили они, говоря земным языком, заговор. Увидев, какие прелестные родились у Адама и Евы внучки и правнучки, как они расцвели и похорошели, войдя в девическую пору, сыны неба возжелали их. Девы, уже несшие грех прапратери Евы, совершили повторное грехопадение, открывшись перед ангелами-соблазнительями. Произошло зачатие. Родились младенцы. И всё бы ничего, прости Господи такое моё послабление, но росли те новорождённые не по дням, а по часам. И выросли они в исполинов, во много раз превышающих земных людей. Их становилось всё больше и больше. Великаны были непомерно прожорливы. Где год кормилась семья — нефилиму хватало на неделю. Голодные, они свирепели и разбойничали. Опустошали силой закрома, на корню объедали поля. А когда пищи не стало, принялись поглощать людей, не чинясь и не разбираясь, в том числе младенцев. Вопль ужаса, вознёсшийся над землёй, достиг Господа. Узрев открывшуюся картину, Всевышний воспылал гневом. Вначале покарал падших ангелов, бросив их в преисподнюю, а потом обрушил на землю потоп, дабы уничтожить всю новую поросль, нарушившую Его заповеди, не щадя ни старых, ни малых. И нашёл лишь одного праведника, достойного Своего промысла, а стало быть, жизни — Ноя.

А потом тебе открылись истоки — земля Гиперборейская, как в земном бытовании называлась прародина человеческая. Именно там Господь начал устройство земного мира, там явил на Свой Божий свет Адама и Еву. Там был тот сад, что зовётся Эдемским. А в нём древо познания. Там случилось первое грехопадение. Оттуда у прародителей, изгнанных из Эдема, пошли дети и внуки. Потом случилось второе грехопадение. А следом на неразумных и несчастных обрушился тот самый всемирный потоп.

Спустя время и времена человечество вновь расплодилось. И что бы ему не жить в добре да заботе друг о друге, как наставлял Господь. Но хитроумный дьявол заразил людской род проказой эгоизма. Заповедью Всевышнего о братской любви люди стали пренебрегать, начали хладеть друг к другу, забыв минувшие беды и несчастья. И тогда Господь послал на землю новое испытание, сместив земные балансиры, отчего в благословенных землях, где жить бы и жить в любви и согласии, повеяло ледяной стужей. Люди потянулись в поисках телесного тепла в иные места, растекаясь по лицу земли всё дальше от прародины. Они говорили на одном языке, на котором от рождения говорил ты. Но со временем многие разбрелись так далеко, что стали забывать истоки своей речи. К тому же единая прежде земля разделилась на несколько материков, и человечество утратило своё изначальное единство.

Русским, по воле Господней, досталось самое большое пространство на земле. Тебе зримо предстали разные времена и царствия. И ты мог видеть, как жизнь, подобно морским волнам, то затихала на этих просторах, то вновь возвращалась сюда. Времена ослабления рода сменялись веками расцвета. Чужеземцы, застолбившие было уделы ушедших русичей, пеняли на несправедливость, когда то здесь, то там появлялись русские дружины и корабли, ибо не сразу понимали, что это русские витязи возвращаются на исконные, Богом данные земли.

А ещё тебе было дано понять и прочувствовать, что Россия — удел Богородицы, и всё самое важное на этих пространствах совершается по Божьей воле. И никакие внешние призывы и веяния здесь неуместны, и более того — противны Богу как ересь.

Император, видимо, до конца не определился, как себя с тобой держать. На расстоянии, сидя за столом со львиными ножками, а ты — стоя перед ним; так ведь ты — не порученец, хотя и чин какого-то разряда. Пригласить за кофейный стол — тоже, вроде, не с руки: первая встреча и такое сближение, даром что вы почти ровесники, разница всего в три года...

Всё сложилось как-то само собой. Ты учтиво поздоровался. Дождался его приветствия. Шагнул от дверей вглубь просторного кабинета. Он тоже сделал шаг навстречу. Ты извинился, что не прибран, четверо суток в пути, запылится, на сапогах грязь... Фельдъегерь гнал от Псковщины до Москвы без остановок. И даже здесь, перед аудиенцией, не дал хотя бы побриться, а прямо — в Кремль и сюда в Большой дворец.

Ты сделал ещё шаг. Поморщился от своей неловкости. Всё ещё качает, добавил извиняясь, и зябко передёрнул плечами — в дороге продуло. Взгляд твой потянулся к огню. Это не ускользнуло от внимания императора. На твой безмолвный вопрос он кивнул и приглашающе повёл рукой. Ты прошёл к камину. Хотелось встать спиной, чтобы жаром обдало поясницу. Но встал вполборота, оставляя место у просторного камина императору-великану.

Принесли кофий на подносе и булочки. Каминная доска оказалась для тебя высоковата. И хозяин велел поставить столик. Ты сделал несколько глотков и, почуввав, как от тепла внутреннего и внешнего тягостный сгусток в груди размякает, благодарно кивнул.

Теперь можно было начать разговор. О чём? Император не был дипломатом. Он был военным. Ходить вокруг да около не умел. Потому с солдатской прямоотой спросил о главном: «Случись тебе оказаться в Петербурге 14 декабря, где бы ты был?» «На площади, государь, — ответил ты, глядя снизу вверх, но не отводя глаз, — там, где были мои друзья. Вы — человек военный, для военного предать своих — навсегда потерять честь. А это смерти подобно». Прямой ответ на прямой вопрос удовлетворил императора. Недолго мешкая, он предложил тебе мировую, благо у него было торжество — только что состоялась коронация.

На столе императора ты заметил знакомые корешки — это была «История Государства Российского» Карамзина. Прекрасный повод переменить тему. И ты им воспользовался. Император благоговел перед этим трудом и, само собой, перед его покойным автором. О чём и сказал, лаконично и твёрдо. Ты тоже молвил доброе слово, и было видно, что император оценил, как мягко и нежно ты говорил о своём старшем друге и наперснике. Тут вы были единомышленниками. То-то у обоих заблестели глаза, когда вы заговорили о предмете, словно вручили друг другу верительные грамоты. Даже, как бывает в разговоре, заторопились один перед другим, отмечая любимые места и стараясь донести их красоту и мощь до собеседника. Труд удивительный, говорил император. Ты кивал и соглашался: титанический труд. Отыскать по монастырям и книжным хранилищам летописи, инкунабулы, фолианты, писцовые книги, прочитывать их, осмыслить, воплотить в тысячи страниц рукописи — такое под силу только незаурядной, волевой личности, которая твёрдо и неуклонно идёт к намеченной цели.

Так продолжалось некоторое время. Но ты обратил внимание, что император использует только превосходную степень, оценивая труд Карамзина. А ты привык оглядывать предмет со всех сторон, отмечая не только достоинства, но и недо-

статки. То, что уже второе столетие русская история, как сапог, перекраивается по немецкой колодке, тебе и твоим единомышленникам было понятно. И Карамзин тут внёс немалую лепту, заложив, по сути, канон. Так было угодно романовской династии, где в четвёртом правлении царица немецкая кровь. Новый император целиком соглашался с такой установкой, любуясь династическим зеркалом, в котором видел уже и себя. Напрямую сказать об искажении отечественной истории ты не мог. Но и соглашаться и безмолвствовать тебе не пристало. В двух-трёх выражениях ты мягко перевёл внимание державного собеседника на более далёкие времена, когда правила другая династия. Вспомнил славные победы Дмитрия Донского, Александра Невского... Потом процитировал Карамзина: «Великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умеренных её климатах была искони обитаема, но дикими в глубину невежества погружёнными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками».

Император поначалу насторожился, снова вытянулся во фронт, пальцы заложив за полу мундира. Но чем дальше длилась твоя речь, тем, увлекаясь, он всё больше расслаблялся, пока не облокотился на каминную доску, подогнув колени, и едва не сравнялся с тобою в росте.

О чём ты говорил? О народе. Простые казаки, немногочисленная дружина Ермака вернула России утраченную некогда Сибирь. При этом действовали казаки не столько мечом, сколько крестом и природным разумом. Это ли не историческое деяние, достойное летописного памятника, а также бронзового изваяния?! Новгородское вече, существовавшее ещё до крещения Руси, показало пример ярчайшей, превосходящей греческую, демократии, где во главе правления становились выходцы из простонародья, отличавшиеся природной смёткой, волей и справедливостью. А поморы якобы дикого Севера! Простые мужики ладили парусники — кочи да лодьи, на которых издревле, ещё до начала Московского княжества, ходили в Арктику, на Грумант, под самым Северным полюсом утверждая становища. Разве эти деяния не достойны исторической памяти?

Помянув поморов, ты тут же вспомнил Ломоносова, выходца из мужиков, ставшего академиком. На память процитировал начала ломоносовского трактата «О размножении и сохранении российского народа». В этой формуле — первостепенная задача государства на все времена. Это ты подчеркнул особо, глядя императору в глаза. А чтобы убедить, что доверительное и заботливое отношение власти к народу окупается сторицей, привёл примеры ближние: Дмитрия Пожарского и Козьму Минина, спасителей Отечества, князя и простолюдина; Суворова, за которым его пехотинцы шли в огонь и в воду, штурмовали Чёртов мост и готовы были устремиться чёрту в зубы; Кутузова, которому армия верила безоглядно, и наконец, пращура — императора Петра Алексеевича, который выискивал единомышленников не только из знати, но и из простых людей, обладающих природными, от Бога данными достоинствами.

Развернуть перед императором тот изначальный свиток, что открылся тебе на русском перепутье, ты не решился. Однако отказать себе в том, чтобы поделиться обрётёнными знаниями, не мог. Сперва хотел поведать об исполинах и напомнить, что прообразы их появились в «Руслане и Людмиле» — голова великана, а ещё в «Сказке о царе Салтане...» — тридцать три богатыря. Да тут же осёк себя, решив, что это бахвальство, к тому же у тебя исполины — не злодеи. Потому перевёл на другое: напомнил о списке «Слова о полку Игореве», оригинал которого сгорел

здесь, в белокаменной, во время наполеоновского нашествия. Император, небольшой знаток словесности, кивнул и почему-то вспомнил, что эту находку признал как раритет академик Шлёцер. Замечание это резануло твой слух. Один из врагов Ломоносова, доживший до глубокой старости, немец по происхождению, в начале этого века был жалован русским орденом Святого Владимира и дворянством. Ломоносов, верно, в гробу перевернулся. За какие заслуги? За то, что обворовал древние книжные хранилища и перековеркал историю Руси? Мигом вспомнился Павел Каверин, друг лицейской юности, лихой гусар: до войны 1812 года он слушал лекции в Гёттингенском университете, где в своё время преподавал Шлёцер, и своими глазами видел шкафы, набитые русскими раритетами. А то, что Шлёцер признал русскую находку, так невелика честь. За жалованный орден сказал одно, а потом всё равно гнул свою норманнскую теорию. Но вступать в пояснения ты не стал. Перевёл внимание на письменность. На Руси писали на берёсте, в древних школах — на грифельных досках, а ещё использовали для словесности деревянные дощечки. Вот на таких было написано и «Слово...».

«О Бояне, соловью старого времени! А бы ты сия полки ущекотал, скача славия по мыслену древу...», — прочитал ты на память и тут же взялся пояснять: — О чем это «Скача славия по мыслену древу»? Боян был древний — незапамятных времён — певец, творил ещё до изобретения папируса, а потому, по тогдашнему обыкновению, писал на деревянных дощечках. И чтобы не вдаваться в долгие пояснения, ты сослался на древнего арабского историка Ибн-Эль-Недима, который оставил свидетельство о письменности русов. Письменность здесь, на русской земле, была развита задолго до Кирилла и Мефодия. Русские начертания есть на египетских пирамидах, есть в Азии и в Америке, да едва не на всех материках. Есть они на раритетах Древней Греции. О чём это свидетельствует? О том, что среди русичей было немало образованных, понятно, по тем временам, людей. А такие были востребованы во все эпохи. Есть множество свидетельств, что среди римской и греческой знати было немало русичей, кто своим умом и доблестью достиг жизненных высот.

Тут ты вновь возвратился к «Слову о полку Игореве», приведя слова о Бояне: «А бы ты сия полки ущекотал... рища в тропу Трояню». Как это понимать? Карамзин заключил, что слова «в тропу Трояню» (*in via Trajani*) означают в путь Траянов. Но, спрашивается, можно ли что-то воспеть в чей-то путь? Поют в лад кому-то, но не в путь. К тому же в оригинале говорится, что речь идёт о чём-то троянском, а не Траяновом. Да и дальнейший текст «Слова...» это повторяет: «вступила девою (здесь об обиде) на землю Трояню», то есть речь идёт об Илионе, другом имени Трои. Стало быть, в чём смысл обращения к Бояну, певцу древности? А в том, что если бы ты, Боян, воспел полки Игоревы, ты бы так же воспел их, как и войну Троянскую, т. е. теми же словесными образами и оборотами, тем же своим высоким языком. А поскольку самое величественное произведение о Трое «Илиада», то можно заключить, что «Илиаду» написал русич Боян, а не некий там Омир, неведомо где и когда родившийся.

Император в продолжение твоего долгого монолога безмолвствовал. Он был поражён не столько фактами, сколько твоими неукротимо-вдохновенными речами, и от всего этого явно устал. Ты это почувствовал и, по сути, на полуслове умолк. Но, может, это было и к лучшему. Потому что неизвестно, как он воспринял бы твоё умозаключение о Древней Греции и всём античном мире. Ведь то, что ты постиг на перепутье снежных дорог, тебя и самого поразило. Древняя Греция и

Древняя Русь, оказывается, были сообщающимися сосудами. Более того, русичи и стояли у истоков этого царства-государства. Услышь такое государь, чего доброго, пошёл бы тебя за сумасшедшего, а он, едва окончилась аудиенция, выйдя к вельможам, во всеуслышание заявил, что имел беседу с умнейшим человеком России.

## 5

Ты окончательно осознал своё назначение и старался сдерживать свои безумства. Но сердце подчас летело быстрее разума. Так произошло в тот год, когда ты отправился на Кавказ в действующую армию. На пути туда тебе был дан остеерегающий знак — ты увидел гроб с телом убитого в Персии Грибоедова. Но не одумался. А достигнув передовых порядков, тут же ринулся в гущу боя. Могли ли отвести неминуемую беду крылья твоего бедного ангела-хранителя?! Не иначе Архангел Михаил, воевода небесных сил, оградил тебя от гибели.

То же было и через год, когда воля providения затворила тебя в Болдине. Близилась пятая годовщина декабрьской смуты, грозившая напастями. И вышней волей была попущена холера, центр которой пал как раз на Поволжье. Сто дней ты обретался в карантине. Стремясь к невесте, норовил пересечь заставы, но тебя всякий раз возвращали обратно. На очередном таком перегоне ты почувствовал недомогание. Заключил, что, как ни берёгся, всё-таки заболел. По счастью, на ту пору на почтовой станции оказался один опытный человек. Не лекарь, но весьма осведомлённый в различных практических делах обрусевший немец, то ли преподаватель, то ли секретарь какого-то коммерческого училища. Он-то и развеял твои худшие опасения. Пощупав лоб и запястье, он заключил, что это не холера, а обыкновенная простуда. При этом выругался: «Доннер ветер!», тем пояснив, что попутчика где-то продуло. Мало того, он тут же и лечение назначил. Велел службе принести чаю. Из большого чайного бокала половину отлил, а долил в него золотистого гаванского рома. Тебе ничего не оставалось, как довериться этому человеку. Выпив пуншу, ты лёг, он укрыл тебя шинелью, а сверху накинул ещё одну. «Утро вечера мудренее», — с лёгким акцентом заключил он. И действительно. За ночь пропотев, ты в утрах встал совершенно бодрым. И на радостях по случаю счастливого выздоровления закатил пир, велев станционному зрителю метать на стол всё, что есть в закромах. Вот тогда за пирушкой ты в знак доверительности и поведал немцу-попутчику свою тайну. Это было, по сути, то, что ты прежде открыл императору.

## 6

Аудиенция у императора принесла вольную. Тебе была дарована свобода и право жить в любом месте Российской империи. Ты не выбирал: Москва, Петербург и время от времени — деревня. Выбора по существу не было. Но знал бы ты, что тебе остаётся всего десять лет жизни, может, переменял бы эту череду, сделал центром помыслов сельскую вотчину.

Счастлив ли ты был, обладая Божественным даром первого поэта?

Счастлив ли ты был, обладая первой красавицей России?

Ты сам ответил на эти риторические вопросы к своему исходу:

*На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля —  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

Аукнулась Святогорская ярмарка. Ты появился на неё в алой канаусовой рубашке и казачьих шароварах с красными лампасами, заправленных в юфтевые сапоги. Держа в руке просторную шляпу «боливар», ты извлекал из неё тёмные вишни и косточками норовил в кого-нибудь пульнуть-стрекануть, предпочитая, понятно, близких по духу мальцов-огольцов. Очередная косточка попала в белобрысого отрока, тот показал тебе язык. Ты расхохотался и оделил его щедрой вишнёвой горстью. Крестьянские дети пугливы и робки, коли чужого увидят. А этому, конопатому да веснущатому, — хоть бы что, держится на равных. Мало того, сам задирает: «А давай, барин, в ухоронки играть». «Как это?» — спрашиваешь ты. «А мы с ребятей, — показывает он на ватажку сверстников, — ухоронимся, а ты будешь нас искать, а коли не найдёшь — вишни наши. — И уточняет, ухмыляясь: — Вместе со шляпой да... енеральскими портами». «Идёт, — отвечаешь ты: — Только я хоронюсь наперёд, чтобы было справедливо. Вас ведь больше. И... вместе с вашими портками. Найдёте меня — портки верну. Да с моими в придачу». Ватажка, окружившая тебя, призадумалась: портки хоть латаные-перелатаные, а свои. А взамен что? А ну как домой придётся возвращаться беспортошными. Не миновать порки. «Стережётесь? — усмехнулся ты. — И правильно делаете. А то уж так ухоронюсь, ни одна собака не съест!»

Ухоронился...

Начало марта. Близится 40-й день. 9-го числа ты, усталый раб, предстанешь перед Всевышним.

Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Александра, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное.

И ещё, Господи, молю: дозвожь его светлой душе навеваться по весне, в начале лета, в эти благословенные пределы и, облетая милую вотчину одухотворённым жаворонком, петь величальную Твоему земному творению.

И вы молитесь о том, его друзья и заединщики. И в первую голову вы, милостивый государь Василий Андреевич Жуковский, душеприказчик, коему и адресую сии записки.

## Эпилог

Доктор Выжлецов сидел перед открытым шкафом. На верхней полке стояли папки с наиболее интересными случаями душевных заболеваний, а также образцы различного творчества больных. Здесь были рисунки путешествия на Марс, где преобладал красный цвет, их оставила знатная барышня, год назад покончившая с собой. Здесь покоились письма к Жанне де Арк, деве-воительнице, от любви к которой скоротечно истаял пылкий юнкер. Здесь находились докладные записки в Сенат, как в промышленных целях использовать ледники Северного Кавказа — их оставил бывший чиновник, статский советник.

Доктор Выжлецов пребывал в задумчивости. Перед ним лежала рукопись. Стопку исписанных листов принёс фельдшер Ломанов — было это третьего дня — а ещё он доложил, что новый больной исчез.

— Как исчез? Куда исчез? — машинально переспросил доктор, глядя на листы, исписанные прекрасным каллиграфическим почерком.

— Не могу знать, — ответил фельдшер и, точно фокусник, вытащил из-за спины какой-то серый свёрток.

— Что это? — всё ещё пребывая в послеобеденной задумчивости, спросил доктор.

Фельдшер Ломанов, загадочно тараща глаза, развернул свёрток и двумя руками встряхнул его, как до того медбрат Гурий встряхивал смирительную рубаху. Это оказался тот самый наматрасник, в который был облачён странный пациент. На лице фельдшера плавала иезуитская улыбка. И этим встряхиванием, и этой улыбкой он словно говорил, что потворствование душевнобольным, игра с ними в душевность до добра не доводит.

Беглый осмотр башенки подтвердил: в помещении действительно никого не было. Вернувшись в кабинет, доктор Выжлецов демонстративно захлопнул дверь перед носом по-прежнему ухмылявшегося фельдшера Ломанова и сел за стол.

Рукопись пациента, который назвался Александровым, доктор прочитал, а прочитав, ещё больше озадачился. Он вновь поднялся в башенку. Не заходя внутрь, снова осмотрелся, на сей раз более внимательно. Кровать без матраца, намертво привинченная к полу, в дальнем углу от входа маленький откидной столик и такое же сиденье. Ничего здесь не напоминало о пребывании исчезнувшего пациента. Но... Тут взгляд доктора снова и будто невольно потянулся к столу. На поверхности стола близ стены лежало перо. Это было не то перо, какими обыкновенно писали в больничке — петушиные, реже гусиные огрызыши. Это было большое, белое и, чувствовалось, упругое перо, от которого — что становилось всё явственнее с наплывом сумерек — исходило слабое свечение. Доктор шагнул к окну, которое выходило во двор. Двое мальчишек, дети истопника и кухарки, обрадев оттепели, катали снеговика. Он медленно и чуть боком, держа в поле зрения стол, перешёл к противоположному окну, которое было обращено на пустырь. На подоконнике лежал снег. Слева темнел какой-то росчерк. Мелькнула догадка, и он даже покосился на стол, но тут же зябко передёрнул плечом и заключил, что это с кровли упала сосулька. Потом перевёл взгляд на забор, редко утыканный гвоздями. В прогале меж двумя штырями снег был сбит. Птица, наверное, голубь или воробей, решил доктор, не пожелав продолжать обследование, да просто, видимо, ветром сдуло.

Три дня доктор Выжлецов пребывал в задумчивости. Надо было принимать решение. Он заварил свежего цейлонского чаю и тяжело уставился на рукопись. Как с нею поступить? Отправить адресату, то есть В.А. Жуковскому, воспитателю наследника престола, или передоверить это настоятелю Святогорского монастыря отцу Геннадию, под опекой которого находится больничка?

Чай был выпит. Решение принято. Доктор сделал так. Рукопись сложил в обычную папку, в каких хранились скорбные листы — истории болезни. Скрепил её бечёвкой со старыми папками, которые лежали на верхней полке шкафа. Запихал этот тючок на самый низ, а потом, пораскинув ещё, задвинул во второй ряд.

Доктор рассудил здраво. Передать эти листы по назначению или даже через посредника, описав, откуда и при каких обстоятельствах они взялись, — значит, подвергнуться риску. Ведь при известном раскладе тебя самого могут принять за сумасшедшего, и тогда ты не просто лишишься казённой оплачиваемой должности — чего доброго, сам угодишь в эту богадельню. А чтобы уж совсем избавиться

ся от наваждения, доктор раскрыл журнал приёма больных, самолично извлёк злосчастную страницу с именем исчезнувшего странника, а нумерацию последующих поменял. С глаз долой — из сердца вон, говорят в народе.

Единственно, о чём ещё подумал доктор, надо как-то поощрить фельдшера Ломанова, чтобы он помалкивал об этом происшествии. А медбрат Гурий — сила есть, ума не надо — давно уже сам всё забыл.